

журнал
критики и литературоведения

ВОПРОСЫ литературы

Март — Апрель 2009

Учредитель: Фонд «Литературная критика»

Главный редактор

Л. И. ЛАЗАРЕВ

**РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:**

**К. М. Азадовский, А. Д. Алехин, Н. А. Анастасьев,
С. Г. Бочаров, Г. С. Кнабе, Г. Г. Красухин,
Ю. В. Манн, В. Л. Махлин, Б. М. Сарнов,
Е. Ю. Сидоров, А. М. Турков,**

И. О. Шайтанов (первый заместитель главного редактора),
Л. М. Шарапова (ответственный секретарь), **К. Эмерсон**

Филология в лицах

И. СМЕРНОВ

КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ, ИЛИ РАЗМОЛВКА УЧЕНОГО С ПОЭТОМ

Толчком к написанию этой статьи послужили несколько строк воспоминаний М. Гаспарова о Сергее Павловиче Боброве в его книге «Записи и выписки». Там, в частности, сказано: «Но больше всего он гордился стихотворным переложением Сы Кун-ту, “Поэмы о поэте”, двенадцатистишия с заглавием “Могучий хаос”, “Пресная пустота”, “Погруженная сосредоточенность”, “И омыто и выплавлено”, “Горестное рвется” и т. д.». Далее М. Гаспаров цитирует С. Боброва: «Пришел однажды Аксенов, говорит: Бобров, я принес вам китайского Хлебникова! — и кладет на стол тысячестраничный том, диссертацию В. М. Алексеева». Гаспаров поясняет: «Там (то есть в книге В. Алексеева «Китайская поэма о поэте». — И. С.) был подстрочный перевод с комментариями буквально к каждому слову. В 1932 году Бобров сделал из этого поэтический перевод, сжатый, темный и выразительный». И опять цитата из рассказа Боброва: «Пошел в “Интернациональную литературу”, там работал Эми Сяо, помните, такой полпрд ре-

волюционной китайской литературы, стихи про Ленина и прочее. Показываю ему, и вот это дважды закрытое майоликовое лицо (китаец плюс коммунист) раздвигается улыбкой, и он говорит тонким голосом на всю редакцию: “То-ва-ли-си, вот настоящие китайские стихи!” После этого Бобров послал свой персвод Алексееву, тот отозвался об Эми Сяо “профессиональный импотент”, но перевод одобрил. Напечатать его удалось только в 1969 году в “Народах Азии и Африки” стараниями С. Ю. Несклюдова¹.

Вовсе не все рассказанное С. Бобровым было именно так, а не иначе: память подводила Боброва и в других случаях, что явствует хотя бы из иных, «не китайских», сюжетов гаспаровского мемуара. Но для нас важно не это. Сохранившаяся почти полностью переписка Боброва и Алексеева позволяет не только восстаповать этапы их заочного знакомства и эпистолярные отношения, но и разглядеть нечто, представляющее не только биографический интерес, более существенное, чем непростые отношения этих столь не похожих друг на друга людей: проблемы поэтического перевода применительно к далеким друг от друга поэтическим традициям; меру понимания иноязычного поэтического мира — и все это в контексте времени, наложившего на участников переписки и на ее, казалось бы, «вневременную» сквозную тему — старую китайскую поэзию — свою постираемую печать.

В фокусе нашего рассказа оказываются несколько персонажей. Во-первых, разумеется, С. Бобров и В. Алексеев, из которых первый, пожалуй, более своего адресата известен читателям «Вопросов литературы». Затем — Сыкун Ту, китайский поэт и поэтолог, и его поэтическое сочинение «Ши пинь» — «Категории стихотворений», — исследованное и персведенное В. Алексеевым². Наконец, китайская классическая поэзия как объект интереса — с разными ресурсами, с разных точек зрения и с разными целями — и

¹ Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.: НЛЮ, 2000. С. 392.

² Алексеев В. М. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837—908). Перевод и исследование (с приложением китайских текстов). Пг., 1916 (переизд.: М.: Восточная литература, 2008.)

Сыкун Ту, и В. Алексеева, и С. Боброва. Скажем несколько предваряющих слов о наших главных героях.

Сергей Павлович Бобров (1889—1971) — поэт, критик, литературовед, переводчик, один из родоначальников современного стиховедения. Близкий знакомец В. Брюсова, Андрея Белого, соратник Н. Асеева и Б. Пастернака по участию в литературных группах «Лирика» (1913—1914) и «Центрифуга» (1914—1917).

В 10—30-х годах много работал в области перевода. Перевел «Сказки Перро», трагедию Вольтера «Магомбет», «Красное и черное» Стендаля, «Дом, где разбиваются сердца» Бернарда Шоу, стихотворения Рембо, Корбьера, Верлена, Верхарна, Шелли, Лорки и Элюара, пересказал «Песнь о Роланде».

С 1934 года находился в ссылке под Кокчетавом, а его семье помогал, чем мог, Борис Пастернак. В 1939 году возвратился в Москву.

Василий Михайлович Алексеев (1881—1951) — крупнейший китаевед XX столетия, исследователь и переводчик классической китайской словесности, последний мирового уровня ученый-универсал, писавший о китайской культуре во всем ее многообразии. Окончил Санкт-Петербургский университет, совершенствовал свои знания в Европе (слушал лекции Э. Шаванна в Коллеж де Франс) и Китае. Хотя в 1929 году и был избран академиком, вплоть до своей смерти подвергался яростной критике за якобы приверженность «старому Китаю» в ущерб Китаю «новому». После выхода в 1937 году на французском языке книги «Китайская литература. Шесть лекций в Коллеж де Франс и Музее Гимэ» и появления в связи с этим в «Правде» статьи «Лжеученый в звании советского академика» ждал ареста, однако чудом уцелел. Были уничтожены его лучшие ученики Н. Невский и Ю. Щуцкий, другие оказались в лагерях, третьи умерли от голода в блокаду. В 1949 году — новая волна проработок и обвинения в космополитизме, возвеличивании западной науки и пр.

Таков бегло набросанный жизненный фон, на котором завязался эпистолярный сюжет, — этот фон, как станет ясно из дальнейшего, не мог не влиять на, пусть не явные, обертоны переписки.

В нашем распоряжении восемь писем С. Боброва к В. Алексееву и четыре письма В. Алексеева к С. Боброву. Первые находятся в фонде В. Алексеева в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук (ПФ АРАН. Ф. 820. Оп. 3), вторые, представляющие собой машинописные копии оригиналов, хранящихся, вероятно, в фонде С. Боброва в РГАЛИ, — в семейном архиве дочери В. Алексеева М. Бальковской, которой выражаю сердечную признательность за предоставленную возможность опубликовать нижеследующие письма.

Начало переписке положило письмо С. Боброва.

1

С. БОБРОВ — В. АЛЕКСЕЕВУ

2 мая 1932

Глубокоуважаемый Василий Михайлович!

Разрешите обратиться к Вам с письмом по вопросам, близким китайской поэзии, которую я узнал из Ваших переводов и которая стала мне очень дорога. Еще в 1916-м, как только вышла Ваша книга переводов из Сыкун Ту, мне привез ее один приятель, и мы с ним были поражены замечательной силой китайского лирика-затворника, высотой его бурной и иной раз статуйной энергии, почти непостижимой лапидарностью и потрясающим проникновением в столь тонкие оттенки бытия в природе, что это кажется магией, освещающим душу волшебством. Вся сила этого пленительного и умирительного волшебства в странной героической простоте их секрета — в нем нет ничего, кроме чистой и высокой души. Мы тогда очень увлекались футуризмом и — уж не знаю, поверите ли, — мы находили многие точки соприкосновения между нашим изогнутым лаконизмом и суровым величием Сыкун Ту. А потом эта книга исчезла из моего поля зрения, события заслонили все, я ушел из литературы, не стерпев обид нашей бессердочной эпохи, — и надолго, — занявшись экономической статистикой. А недавно совершенно случайно — в результате того, что надо было куда-нибудь вечером зайти, я наткнулся опять на вашу книгу, которую, кстати сказать, ведь почти невозможно найти. Читайте и пе-

речитываю ее — и теперь нередко те ваши пояснения, которые когда-то (16 лет тому назад) казались мне многословными, представляются огорчительно краткими. Какою-то особенной радостью дарит эта поэзия, которая врезается нежной силой в землю-мать, как заступ на рассвете, на утренних лучах начинающегося трудового дня. Но это ведь не все еще. Мое любование Сыкуном привело к тому, что я нечаянно (в трамвае на обрывке) написал одно подражание ему, потом другое и, наконец, в отчаянном удивлении им, переложил стихами все 24 станса. Мне хочется вам послать их — не удивляйтесь. Прочел еще Ваши переводы Ли Тай По¹ в «Востоке»² (1923) и очень хотел бы узнать — Вы как будто имели намерение издать поэму Ли Бо в том же виде, как это сделано Вами для «изучившего неправду мудреца». Это было бы замечательно. Грустно, что не знаю языка, и в мои годы (42) вряд ли можно надеяться его выучить. Переводы стихотворные китайцев я знаю Щуцкого³, Гумилева⁴, Маркова⁵ и Колтоновского (в книге Грубе, 1912⁶). Колтоновский — просто глупый пачкун, возбуждающий если и не Сальериевское отвращение, то искренний хохот, Марков крайне бесцветен. Гумилев, мне кажется, охолодил китайцев до крайности, анакреонтизация их — элемент чуждый. Переводы Щуцкого, конечно, лучше других, но дух этой силищи воздушной как-то испарился в его изложении. Читая Щуцкого, можно печально не заметить, что это переводы великих поэтов. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Конечно, дословный перевод, да еще и с комментариями, вообще дает больше, я это давно еще в юности заметил, обнаружив, что лучшие переводы Данта — прозаические. Сам я — пытался передать этот дух. На днях пошлю Вам это. Напишу при посылке несколько слов о том, как я это пытался сделать.

Примите искреннюю благодарность за Вашу изумительную книгу и уверения в моем глубоком почтении.

С. Бобров.

¹ *Ли Тай Бо* (правильно: Ли Тай-бо) — литературное имя поэта Ли Бо (701–762).

² «Восток» — издававшийся издательством «Всемирная литература» с 1922 по 1925 год «Журнал литературы, науки и искусства», всего вышло пять книг. В кн. II за 1923 год (с. 31–40) опубликовано: *Ли Бо. Древнее / Пер. с китайского В. Алексеева. Вступ. заметка и примеч. В. А.*

³ Ю. К. Щуцкий (1897—1938) — китаевед, ученик В. Алексеева, его переводы старинной китайской поэзии опубликованы: Антология китайской лирики. VII—IX вв. по Р. Хр. / Перевод Ю. К. Щуцкого, редакция, вводные обобщения и предисловие В. М. Алексеева. М.—Пб., 1923 (персизд.: Дальнее эхо. Антология китайской лирики (VII—IX вв.) / В переводах Ю. К. Щуцкого. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000).

⁴ И. С. Гумилев (1886—1921) — поэт, переводчик. Издательство «Гиперборей» выпустило сборник: *Гумилев И. Фарфоровый павильон. Китайские стихи.* СПб., 1918.

⁵ В. Марков — переводчик вместе с В. Егорьевым сборника «Свирель Китая» (СПб., 1914).

⁶ Имеется в виду книга: *Грубе В. Духовная культура Китая. Литература, религия, культура* / Пер. с нем. П. О. Эфрусси. СПб., 1912, в которой китайские стихотворения даны в переводе поэта А. Колтоновского (1862 — после 1934).

2

С. БОБРОВ — В. АЛЕКСЕЕВУ

Москва,
Б. Николо-Песковская, 5, 9,
11 июня 1932

Глубокоуважаемый Василий Михайлович!

Итак, все же решился — и посылаю Вам мои переложения из Сыкун Ту, несмотря на все понимаемые мной их недостатки. Здесь произошло со мной маленькое чудо, которое несколько окрылило меня. В Москве нашелся человек, отзыв которого меня очень задел. Это китайский поэт Сяо¹. Пролетарский поэт, человек со вполне определенными взглядами на вещи. По-русски он говорит хорошо и знает русских поэтов (не всех, конечно, Тютчева, например, не читал). Во-первых, он мне прочел несколько стансов, и я впервые услышал, как это звучит. Затем — хладный разговор, зачем-де Вы брались за Сыкун Ту, это старина, которой не стоит трогать и т.д., я, понятное дело, отвечал, что, дескать, читаем же мы Овидия и пр. Затем попросил показать мои переложения. Тут-то и началось странное чудо. Его холодный скупой-зловобоватый официальный тон исчез. На втором стансе стал улыбаться, дальше — смеяться, махать руками, вообще, проявлять человеческие чувства. Признался с открытой улыбкой, что сам когда-то очень увлекался, что это стих — «лег-

кий, легкий, точно летит, поднимает». Сказал, между прочим, что это труднее по языку, чем Шицзин², то есть (сколько я понял) язык еще болсе архаизован³. Очень меня хвалил. Ушел я от него под впечатлением, что я то ухватил в Сыкун Ту, и что-то серьезное, если это может расшевелить даже китайца. Указал ряд неточностей, но мне показалось, однако, что он искал преимущественно дословности. Сказал тут же, что ему не все тонкости русского языка ясны, что, конечно, оценку перевода для него затрудняет. Удивлялся, как я решался братья за некоторые философические стансы. С удивлением сличал мои стихи с Вашими дословными переложениями, стремясь выяснить, как я этот «даотический Элемент»⁴ вытащил. Ну, тут уж ничего не скажешь, кроме низкого поклона Вам за ваши замечательные примечания, которые, на мой взгляд, при внимательном чтении дают прямо-таки энциклопедию китайской лирики. Потом тончайшие, проникновенные комментарии Яна⁵. Лишь в большой постепенности, одолевая книгу, входишь в этот странный мир китайской мысли — огромный, массивный и тончайше-извилистый. Однако поэзия Сыкуна и вровень с этим — по и выше, как чистая поэзия со всей ее элегичностью, тонкостью. Необыкновенные трудности встречаешь в философских стансах, пейзажные, конечно, много легче. И самые отчаянные трудности не в тонкости, а в этой никак не понятной оратории магических сил-озарений, которыми у Сыкун Ту снабжается поэт со всеми его даотическими полетами. Читал Тао Те Кинг⁶, но Вы, кажется, не очень-то жалуете перевод Конисси⁷. Оттуда сразу не много-то почерпнешь. Дао отрицательное легче понять, чем Дао действенное, что и составляет неизмеримые трудности. Некоторые вещи вышли у меня сухо, из-за старания приблизиться к подлиннику. Вольные подражания легче, но что они передают — вероятно, не больше, чем мое впечатление от Сыкун Ту, не больше. Моя страсть к нежному, трогательному уводила меня от подлинника, хотя получалось живей. Прилагаю один станс в двух видах — в тетрадке фантазий первые попытки перевести XII станс. Тетрадка фантазий — это уже откровенные подражания, нередко вызванные комментариями, где есть поразительные самоцветы. А в иных случаях — это размышления о судьбе личной Сыкун Ту. Иногда же — попытки рисовать пейзаж китайским лапидарным отточенным стилем (мне представляется теперь иногда, что я иной раз вижу, как китайскому лирику пейзаж виделся). Иногда жаль какой-либо по-

дробности, ее тащишь в фантазии. Вы бы сделали для меня очень много, если бы не отказались всю эту нежнейшую чепуху прочесть — плод моей нежности к китайцам, которыми Вы меня сладчайше отравили, — и сообщили бы мне. Разумеется, я бы пошел на все исправления, которые Вы нашли бы нужными, — если, конечно, вообще возможно исправить.

Читал в «Востоке» Ваши переводы из Ли Бо⁸. Замечательно — но: примечаний МАЛО (выделено автором письма. — И. С.). Вот если бы их было столько, сколько у Сыкуна. Попробовал бы Ли Бо обязательно, если бы было побольше примечаний. Но с Сыкуном я сжился, Ли Бо мне еще не очень понятен. Говорил мне Сяо, что Ду Фу⁹ еще замечательный автор, но я, кажется, ничего не читал. Вообще — сейчас у меня на китайцев жадность, все бы над ними сидел. Поразительно все же, как такой колоссальный поэтический мир остался совершенно нам неизвестным. Может быть, я увлекаюсь, но у кого из европейцев найти хотя бы подобие этого подхода к ландшафту. Субъективизм европейца — просто баловство по сравнению с разработаннейшей, объективнейшей системой китайского субъективизма — субъективизма вчувствования, познания вживанием, своеобразного медитативного понятия мира. Европейец заваливает нас громадными трагедиями, которые сами по себе красноречивы, а ведь здесь — наряду с изумительной бедностью средств, непостижимая высь поэтического достижения, прямого, непосредственного. Поразительна — и отвратительна — глухота европейцев к этому, а уж особенно наша русская, к своим же соседям. Ведь немного людей знают Вашу книгу, а прочитавшие ее от начала до конца — сколько их, десятки, наверно. Обидно и преглупо. Разумеется, я не о синологгах говорю, а о людях, которые любят поэзию, — и вот живут, не зная об этих потрясающих богатствах.

Мне бы очень хотелось сделать это как следует — большое бы Вы дело сделали, если бы мне помогли в этом. Хотелось бы и других авторов попробовать, того же Ли Бо, особенно поэму его.

Кончаю свое бесконечное письмо, не осердитесь за болтливость. Очень бы Вас просил об отзыве, хоть и понимаю, что для этого Вам должно урвать время, а его теперь у всех нас — немного.

Примите уверения в моем глубочайшем почтении.

С. П. Бобров.

¹ Имеется в виду *Сяо Сань* (1896—1983), наст. имя Сяо Цзычжап, псевд. Айми Сяо (Эми Сяо) — революционер, публицист, литературный критик. В 1923 году перевел на китайский язык «Интернационал». Жил в СССР, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока.

² «*Шинзин*» — «Канон, или Книга песеп» — один из главных памятников китайской традиции, составленный, по преданию, Конфуцием (VI—V века до н. э.), — сборник поэтических произведений от храмовых од и гимнов до народных песен.

³ Скорее всего, С. Бобров не понял Эми Сяо, ибо тот все-таки не мог не знать, что Сыкун Ту писал самое малое на 15 веков позже времени канонизации «*Шинзина*» и язык его поэмы уж никак не архаичнее языка этого памятника. Другое дело, что понимать стансы Сыкун Ту порой сложнее, чем многие стихотворения «*Шинзина*», представляющие собой незатейливую народную поэзию.

⁴ Речь идет об одном из главных понятий китайской мудрости — Дао (букв. Путь). В исследовании В. Алексеева выяснению значения этого понятия для Сыкун Ту отведено важнейшее место, так что «вытаскивать» «даотический Элемент» не было никакой нужды.

⁵ Имеется в виду один из классических комментариев на «*Шинпинь*» Сыкун Ту, принадлежащий Ян Тип-чжи, жившему при династии Цин (XVII—XX века), точные даты жизни неизвестны. Обильно цитируется и нередко оспаривается в исследовании В. Алексеева.

⁶ *Tao Tè King* (правильно: Дао дэ цзин) — «Канон (Книга) о дао и дэ» — главный памятник одного из учений китайской традиции — даосизма.

⁷ *Конисси Масутао* (1862—1940) — японец, воспитанник Российской духовной академии в Токио, принял христианское имя Даниил (Петрович). Впервые перевел на русский язык Дао дэ цзин. Книга вышла в 1894 году под ред. Л. Толстого.

⁸ Если С. Бобров не просто повторяется (см. письмо 1), то, вероятно, он имеет в виду публикацию в кн. V «Востока» (1925): *Ли Бо*. Из четверостиший/. Пер. с китайского В. М. Алексеева.

⁹ *Ду Фу* (712—770) — поэт, друг Ли Бо.

3

В АЛЕКСЕЕВ — С. БОБРОВУ

12 июня 1932

Многоуважаемый Сергей Павлович!

Очень рад Вашему прекрасному письму и благодарен, тем более, что оно совпало с публичным поощрением, которым угостил меня на днях один из моих учеников (Завед. Азиатским

Музеем — где я был всего лишь уч. хранителем — т. Скачков¹), доказывавший, что в этой своей книге («Поэма о поэте») я «негодно протаскивал царистское самодержавие». Я рад, что моя книга не стареет. Очень жаль, что подготовленное мною с великой (поверьте) заботой второе ее издание (первое в складе Ак. Наук — уже не поступает в продажу) не удастся, и все листочки-заметки услужливыми учениками будут также «негодно» употреблены. История когда-нибудь рассудит меня с уничтожителями. Возможно, что, в конце концов, достанется мне же. Tant pis², как говорят французы.

Ваше письмо сохранию среди немногих, весьма подобных ему, полученных мною в разное время. Если удастся когда-нибудь написать мемуары, я бы изобразил, как за понимание Сыкуна пришлось бороться и в Китае, и особенно здесь... Впрочем, теперь мне заниматься поэтами некогда: пишу учебники и все то, что мне задастся б. учениками, а от них поощрения к переводу Ли Бо не увидишь. О Щуцком Вы говорите правильно, но он выше всех Марковых и Колтоновских, которые просто негодяи-фальсификаторы (читайте мое предисловие к «Антологии» Щуцкого).

А ведь Сыкун Ту не из больших поэтов «земли китайской». И скольких бы я сумел перевести, истолковать! Не суждено, знать, было. Один из них, часто упоминаемый в моем тексте, Тао Цянь³, был уже в 1917 году почти закончен обработкой. Но получилась такая толстая книга (хотя и без таких примечаний, как к стансам Сыкун Ту), что я перестал писать — все равно денег на нее никто бы не дал!

Ваше письмо всколыхнуло во мне мои молодые надежды. Присылайте, пожалуйста, свои переложения, буду рад с ними ознакомиться. Во всяком случае, я рад, что у Вас моя книга есть и что она не подверглась «материализации» в рыночной макулатуре (оберточной бумаге), как, вероятно, другие экземпляры.

С большим приветом, искренне благодарный

В. Алексеев.

¹ В этой фразе содержится неточность: директором Азиатского музея с 1916 по 1930 год, когда он был преобразован в Институт востоковедения, состоял акад. С. Ольденбург; «т. Скачков» (вероятнее всего, имеется в виду П. Скачков, ученик В. Алексеева), стало быть,

никак «заведующим» быть не мог, тем более что и Азиатского музея в 1932 году уже не существовало; он был с 1930 года научным сотрудником ИВ, где В. Алексеев заведовал Китайским кабинетом. Но именно в 1932 году И. Скачков в числе прочих выступил автором доносительской статьи против Алексеева в журнале «Проблемы марксизма» (№ 3), так что слова «негодно протаскивал царистское самодержавие» ему вполне пристали.

² Tant pis (франц.) — ничего не поделаешь.

³ Тао Цянь — Тао Юань-мин (365—427), китайский поэт. Книгу о нем с переводами его стихов издал Л. Эйдли (1910—1985), ученик В. Алексеева (см.: Эйдли Л. Тао Юань-мин и его стихотворения. М.: Наука, 1967).

4

В. АЛЕКСЕЕВ — С. БОБРОВУ

Ленинград, 5 июля 1932

Многоуважаемый Сергей Павлович!

Очень благодарен Вам за письмо, переложения и фантазии на темы Сыкуп Ту. Мне не удивительно, что полудикарь Сяо (Эми Сяо), тронутый Вашею правдой, несколько сдал свою анти-древнюю (profession de foi et impuissance professée¹) позицию. Мне он известен, и я рад, что хоть раз удалось Вам на троподита поддействовать.

«Бедность средств» Сыкуп Ту — тоже professée. Сам он жил в эпоху золотого века, расцвета Танской поэзии, блещущей всеми красками. Хорошо, что Вы все это оценили.

Мне было бы чрезвычайно трудно взяться за исправление Вашего текста. В тех местах, где Вы от моих переводов отходите, Вы это делаете сознательно, так что зачем же мне возвращать все к пункту отхода?

Я сам очень жалею, что ни Тао Цянь, ни Ли Бо мне не удастся: печатать не будут — это факт. Ду Фу, конечно, поэт великий, и с ним справиться труднее всего, но мне и он конгениален, и я бы за него взялся (о нем, как и о прочих, на кит. языке огромнейшая чуть не культовая литература). Китайский колоссальный поэтический мир остался неизвестным только русским. Но и в Европе он известен лишь частично, и, кроме Тао Цяня, «Собрания сочинений» ни одного поэта нет. На днях я

получил брошюру (на кит. яз.) «Поэт Ли Бо», сделанную по европейскому образцу. И это интересно.

Мне кажется, что Ваши подражания и особенно фантазии было бы хорошо напечатать. Ведь это целый новый поток в русской поэзии, который будет разливаться далее уже особыми струями. И интересно, чем это новое течение закончится и как будет по-новому жить.

Ваше письмо все целиком интересно. Скажу без комплимента, ни от одного из своих учеников (которые, кстати, никогда не удосуживаются читать «лишнее», т.е. то, чего на экзамене не требую, а Сыкун Ту я, как Вы легко себе представите, требовать и не мог, особенно теперь, когда бедный Сыкун протацил в IX веке царизм XIX века!) я ничего подобного по силе восприятия и удачной характеристике основных моментов не слышал. Позвольте порадоваться и поблагодарить.

Разрешите мне оставить Ваши обе тетради на память: они будут в регистратуре и не пропадут и после моей смерти (будут в каталоге моих рукописей).

С приветом и благодарностью за все эти интересные вещи и письмо

В. Алексеев.

¹ Исповедание веры монаха-импотента (франц.).

5

С. БОБРОВ — В. АЛЕКСЕЕВУ

Москва, 10 октября 1932

Глубокоуважаемый Василий Михайлович!

Очень, очень извинительно перед Вами виноват, т.к. на Ваши добрые и снисходительные письма отвечаю через полгода. У меня имеется несколько глупейших оправданий. Дело в том, что подвигнутый рядом добрых отзывов о моих переложениях Сыкун Ту, да еще подзадоренный одним приятелем, я поддался низкому соблазну легкой наживы и отдал мои бедные стишки в издательство «Академия» (известное своими «рос-

кошными» аляповатыми изданиями, но безвкусице своей вполне достойное нашего милого времечка). Мне обещали ответ через... неделю. По-видимому я сильно поглупел за последнее время, т.к. поверил этому грязному вранью, — неделя сия тянется и по се время, и не далее, как третьего дня мне снова обещали «окончательный» ответ через три дня. Своеобразная постановка дела — когда бы вы ни позволили — через день ли, через два года, — Вы всегда услышите то же. Меня обнадеживают и уверяют, что вещи эти будут напечатаны. Вот этого-то «ответа» я и дожидался, чтобы Вам написать. Умно, не так ли? По делу вот в чем. Допустим на миг, что они действительно возьмут мою рукопись. Как быть. Вот тут-то и начинаются мои домогательства. Не найдете ли Вы возможным дать мне еще кое-что для переложений. Мне хотелось бы попробовать еще Ли Бо, Тао Цяня. Другими словами, ежели, паче чаяния, я узнаю, что они собрались-таки меня напечатать, нельзя ли попросить у Вас несколько Ваших переложений с маленьким комментарием для стихотворной переработки, чтобы вышла маленькая антология китайцев. Ну, скажем, «Три китайских поэта» (Сыкун, Ли и Цянь). Из Сыкуна у меня двадцать стихотворений (не считая моих «фантазий», которые в случае чего также можно тиснуть). Если было бы возможно у Вас выпросить поэм по десять, по пятнадцать еще двух авторов! Может быть, Вы бы дали еще и маленькую статейку научного характера, а я бы сочинил общее введение по части художественного значения китайской поэзии. Мечты, мечты. У Вас ведь, чаю, немалая толика этих переложений имеется: все равно лежат. А тут вышло бы нечто, что, может быть, кого-нибудь с истинно поэтической душой и порадовало бы. Конечно, «Академия» небольшая радость, ибо ее издания почти нельзя купить, кроме как по знакомству, но все-таки. Нашли бы доброго художника, который подобрал бы нам китайских картинок сообразного времени. Было бы чудно. Подумайте, дорогой Василий Михайлович, в нашем тупом и унылом бытии это было бы маленьким просветом. Вероятно, удалось бы выторговать Вам какое-то вознаграждение, хоть платят они очень мало, как это и естественно (где на «роскошном» издании нагонять экономию, как не на авторах). Вот мои мечтанья. Думал Вам все это написать, когда получу ответ, но так как это задерживается ад инфинитум¹, то пишу заранее, хоть и возможно, что в недалеком будущем сообщу Вам корот-

ко, что ничего не вышло, так как присяжными критиками обнаружено, что в Сыкуновской поэме нет ничего насчет какого-либо производственного мракобесия. Вот. Простите. Ответьте, если не очень на меня сердиты за невежество.

Привет Вам и самые добрые пожелания.

Ваня Бобров.

¹ От латинского *ad infinitum* — до бесконечности, на неопределенное время.

6

С. БОБРОВ — В. АЛЕКСЕЕВУ

Москва, Вахтангова, 5, 9,
28 октября 1932

Глубокоуважаемый Василий Михайлович!

Наконец я получил некоторый ответ от «Академии». Ответ этот несколько невразумителен и много менее приятен, чем я ожидал, но все же это ответ. В будущем году у них будут выходить сборники на манер покойного «Востока», и в первом выпуске они думают тиснуть мои переложения из Сыкун Ту. Если я дам переложения из других поэтов — «то, что ж, — они посмотрят». Другими словами, есть смысл работать далее. Будьте так добры, не откажитесь мне черкнуть — как Ваше мнение. Мне хотелось бы пьес по 25 — по 30 из Тао Цяня и Ли Бо. Но, может быть, и еще можно было бы что-либо. Умоляю Вас доверить мне Ваши работы, о коих клянусь слезно, что будут они сбережены всячески и возвращены Вам по миновании в том надобности. Мне кажется, что это может быть интересно и даже полезно нашему безграмотному читателю. Буду с нетерпением ждать Вашего ответа. Конечно, хотелось бы иметь от Вас не только подстрочник, но и пояснения к нему, на которые Вы такой тонкий мастер. Без этого, разумеется, будет трудно. Кто-то из моих друзей, расстроившись моими переложеньями, взялся уже и за Ваш том, чем я склонен гордиться. Кстати, Вы мне весной писали, что в Академии где-то свалены эти томы

Сыкун Ту. Не могли бы Вы мне посодействовать — достать для меня один экземпляр. В Москве и за сто рублей его не достанешь. В ожидании Вашего скорого ответа

Ваш Бобров.

7

С. БОБРОВ — В. АЛЕКСЕЕВУ

Москва, 16 декабря 1932

Глубокоуважаемый Василий Михайлович!

Непростительно виноват перед Вами. Уезжал, болел, вертелся в скуднейшей и, конечно, срочнейшей работе. На милую Вашу книгу только любовался. Открыть, разрезать до сих пор не имел времени. Конечно, очесь Вам признателен, тронут всячески. Ваше внимание очень дорого. Много лет, когда потерял Сыкун Ту из вида и вспоминал о нем, мечтая. Сейчас с искусством — трудно. Трудно у нас, по-видимому, трудно — но еще более по-глупому, еще досаднее — на Западе. Такие вещи, как Сыкун Ту, памятники глубокого, монументального героизма духовного, сжатой печали, тоски над миром, — это и есть то, что позволяет сейчас жить, на что-то надеясь. Вернешься к нему в воспоминаниях и думаешь — да быть не может, чтобы время все это из человек вывстрило безвозвратно.

Недавно в Гихле¹, с палету в коридоре, встретил Сяо. Он улыбался мне, а прощаясь, процитировал Ли Бо, четверостишие, которого я не знал и которое напоено этой сжатой, замурованной в стих тоской этого непонятого желтого гения. Черт возьми — а я не знаю, не знаю китайского языка. Можно ли выдумать что-либо глупее моего положения. Крыловская лисица, пирринистически² философствующая над виноградом, прямо истинный счастливец по сравнению со мной.

Привет Вам, благодарность. Пишите мне, пожалуйста, если будет у Вас время.

Ваш Бобров.

¹ Точнее — ГИХЛ — Государственное издательство художественной литературы (1930—1934), далее — Госиздат, с 1963 года — Художественная литература.

² То есть в духе Пиррона (ок. 365 — ок. 275 до н.э.), основателя древнегреческого скептицизма.

Далее в переписке следует перерыв на долгие восемь лет. Почти все эти годы С. Бобров провел в изгнании в далеком казахском Кокчетаве. В. Алексеев прожил их дома, но в обстановке, далекой от спокойного благополучия. Вот самые громкие события его жизни за этот период. 1932 год — заушательская рецензия на книгу «Китайская письменность и ее латинизация» в журнале «Печать и революция» с обвинениями в мракобесии, культе самодержавной китайской старины и прочее; среди подписавших — несколько учеников В. Алексеева из числа лучших: лингвист А. Драгунов, филолог Б. Васильев. 1936—1937 годы — в такт с общей обстановкой в стране травля и поношения в печати и на собраниях, на одном из которых в Институте востоковедения младший коллега и будущий академик Н. Конрад заявляет: «Алексеев не принял Великую Октябрьскую Революцию». Все это на фоне гонений на академиков («дело Бенешевича») и массовых арестов. В 1937—1938 годах арестованы и расстреляны лучшие ученики — Н. Невский, Ю. Щуцкой, Б. Васильев.

8

С. БОБРОВ — В. АЛЕКСЕЕВУ

(почтовая карточка)

30 октября 1940

Глубокоуважаемый Василий Михайлович!

Позвольте Вам напомнить о себе в надежде, что Вы вспомните о моей попытке переложения стихов Сыкун Ту. Сейчас занимаюсь переводами кое-кого из современных китайцев и мечтаю о старинной китайской поэзии. Очень был бы счаст-

лив, если бы Вы нашли время поговорить со мной. Адрес и тел. на об.

9

С. БОБРОВ — В. АЛЕКСЕЕВУ

7 ноября 1940

Глубокоуважаемый Василий Михайлович!

Вчера познакомился с Вашим симпатичным учеником, Эйдлиным¹, и он у меня просидел часа три, показывал свои бесчисленные переводы, очень много говорили о китайской поэзии вообще, и он произвел на меня очень хорошее впечатление. Переводы весьма любопытны своей близостью к подлиннику, недостатком их является слабый стих автора, но материал [прзб.]. М.б., молодой человек просто пока еще не рассчитывает своих сил — 300 четверостиший — 1200 строк — это порция серьезная и для очень опытного человека. Однако если отобрать у него часть из тех, что вышли у него более удачно, и немножко их подправить, то, думаю, что это и в печати произведет очень неплохое впечатление. В Госиздате сейчас готовится к печати сборник современной китайской поэзии, вещи гл. обр. представляющие интерес с политической точки зрения, преимущественно связанные с властью. В дальнейшем предполагается сборник классической кит. поэзии. О Вас я уже говорил там — с директором П. И. Чагиным² (который выпускал Вашего Ляо Чжая³) и заведующей сектором классиков З. М. Тиквиной. Последняя крайне сожалела, что Ваша рукопись, о которой Вы мне говорили, попала не к ним. Эйдлин говорил мне, что рукопись Ваша невелика⁴. Что и Вы сказали о [прзб.] в основание будущего сборника классической кит. поэзии: 1) Вашу рукопись, 2) моего Сыкуна и 3) переводы Эйшлина из Бо⁵. Это можно легко бы и развить — ведь наверно, у Вас есть и еще материал [прзб.]. Мне, в частности, хотелось бы очень поработать над Ли Бо, или Ду Фу, или Тао Цянем. Конечно, Позднеева⁶ могла бы мне сделать подстрочники, Эйдлин мог бы оказать в этом немалую помощь, но у Вас, вероятно, есть уже что-нибудь наработанное. Если Вам этот проект не нравится — придумайте другой. От Госиздата Вы получите официальное приглашение и их участие, и их редактирование. Случай хоро-

ший, и его упускать нельзя. А чтобы его не упустить, надо иметь какие-то [нрзб.] предложения уже сейчас. Очень было бы хорошо, если бы Вы мне ответили и сообщили Ваше мнение — мы могли бы [нрзб.] с Вами письменно и явиться в Госиздат с готовым разработанным уже предложением.

Статью мою на днях Вам пошлю. Жду Вашего ответа.

С. Б.

¹ Л. З. Эйдлин был аспирантом В. Алексеева с 1938 по 1941 год.

² П. И. Чагин (настоящая фамилия — Болдовкин, 1898—1967) — партийный работник в Закавказье, журналист. В 1930—1940-х годах работал в Госиздате, ОГИЗе и Гослитиздате.

³ Имеется в виду последнее прижизненное издание алексеевских переводов новелл Пу Сун-лина (1640—1715): *Ляо Чжай*. Рассказы о людях необычайных. (Из серии новелл «Ляо Чжай чжи и») / Перевод, предисл. и коммент. акад. В. М. Алексеева. М.—Л., 1937.

⁴ О какой рукописи В. Алексеева идет речь, установить не удалось.

⁵ Под руководством В. Алексеева Л. Эйдлин готовил диссертацию о четверостишиях китайского поэта Бо Цзюй-и (772—846) и переводил его стихотворения.

⁶ Л. Позднеева (1908—1974) — китаевед, выпускница ЛГУ, где училась у В. Алексеева.

10

С. БОБРОВ — В. АЛЕКСЕЕВУ

10 ноября 1940

Глубокоуважаемый и дорогой Василий Михайлович!

На днях посылаю Вам мою статейку насчет Сыкун Ту. По поводу нее мне надобно предварительно сказать Вам несколько слов. Как Вы знаете, переводом Сыкун Ту я занялся очень давно, он у меня был закончен несколько лет тому назад, но потом я несколько раз пересматривал отдельные стансы, так как некоторые чрезвычайно трудно изложить русским стихом так, чтобы получилось нечто адекватное гениальным китайским строкам. Тому назад несколько времени я отдал рукопись в Госиздат, после чего меня попросили дать «маленькое резюме» поэмы, которое бы излагало, что же такое представляет собой поэзия

Сыкуна. Но я как ни потел, как ни мучился, «маленького» резюме сочинить не мог и, измаравши довольно большое количество бумаги, наконец сочинил статью, которую Вам посылаю. Вы представляете себе, насколько трудно изложить эту старинную поэзию человеку, который вовсе с ней незнаком. Тем паче, что Ваши доброхоты постарались еще более усложнить эту задачу (даже в Советской энциклопедии, как Вы, паверное, помните, есть указание насчет «схоластической природы» Сыкун Ту). С другой стороны, я полагаю, что Вы не станете спорить и с тем, что та концепция, которую Вы, следуя китайским ученым, развивали в Вашем исследовании около четверти века тому назад, ныне уже устарела и не может быть убедительной. Это особенно важный пункт для того, кто хотел бы, как я, ввести поэзию Сыкун Ту в литературу, а не только ознакомить с ней специалистов, которые ведь могут прочесть ее и в подлиннике. При этом я, не будучи китаистом, был привлечен к Вашей книге в свое время отнюдь не учеными ее достоинствами (которые я мог оценить только впоследствии), а просто необыкновенной силой самой поэзии Сыкун Ту. Мне и тогда представлялось и теперь представляется, что это одно из величайших творений поэтов мира. Раздумывая над этим, перечитывая Ваши комментарии, я старался поэтому найти то у Сыкуна, что его роднит с мировой поэзией, а отнюдь не то, что исключительно характеризует давно умершую эпоху, давным-давно истлевшую во мле времен своеобразную «философию» той эпохи, ее туманную мистику, ибо все это само по себе может представлять собой только исторический интерес и объяснить у Сыкуна только отдельные частности, отдельные характерности и ничем не может помочь в уяснении самой поэзии, которая, что ни говори, всегда есть дитя человеческого сердца, его отношения к миру, и отношения непосредственного, и которая имеет в сущности весьма малое касательство к тому, так сказать, лесу всяческих опосредствований, которые есть плод эпохи и всех связанных с ней перипетий развития и умственного, и экономического и т.д. Вы в Вашей книге делаете некоторые попытки развить тему в эту сторону, Вы сопоставляли Сыкуна с Тютчевым, А. Толстым. Мне кажется, это-то и есть самое главное. Кроме того, меня очень интересовали некоторые китайские комментаторы, о которых Вы говорите. Несмотря на крайнюю туманность и превыспренность их изложения, перепутанную буддийско-даосской терми-

нологией, мне казалось, что все же эти загадочные комментарии написаны людьми, которые любили поэзию, а следовательно, на своем непонятном языке говорили главным образом о ней, а не о даосских бреднях. Мне удалось ознакомиться с чисто даосской поэзией по путешествию Чан-Чуня к Чингисхану (в переводе Палладия¹), и это только укрепило меня в мысли, что поэма Сыкуна есть сочинение чисто светское, что это прямая поэзия; что поэт думал именно о поэзии, а не о мистике...

Мне хотелось, чтобы современный читатель мог пойти путь, по которому возможно подойти к освоению (подчеркнуто автором письма. — И. С.) поэзии Сыкуна. Конечно, всегда неприятно видеть, как с тобой спорят, как тебя опровергают, но я в данном случае спору с Вашей книгой, стараясь вызволить Сыкуна от старо-китайского подхода к нему — и подойти к нему с европейской точки зрения. Мне кажется, Вам гораздо более неприятно видеть, когда спорят не с Вашей концепцией (подчеркнуто автором письма. — И. С.), а просто принимают всю концепцию безоговорочно, но только для того, чтобы вместе с ней выкинуть из поэзии и Сыкуна.

¹ Речь идет об известном синологе, архимандрите *Палладии* (П. И. Кафаров, 1817—1878), который в числе прочих китайских сочинений перевел описание путешествия даосского монаха Чан-чуня в 1221 году в ставку Чингисхана. Перевод знакомил читателей с основными идеями даосизма, разъясненными в стихотворениях знаменитого ученого-путешественника. См.: Труды членов Русской Духовной Миссии в Пекине. Т. IV. СПб., 1866.

11

В. АЛЕКСЕЕВ — С. БОБРОВУ

15 ноября 1940

(1)

Многоуважаемый Сергей Павлович!

Благодарю Вас за присланную мне копию Вашей статьи к переводу поэмы Сыкун Ту на поэтический язык. Этому начина-

нию и факту, как я Вам уже неоднократно писал, я очень радуюсь, ибо, несомненно, что рождение чего-то живого и поэтичного из моего «некритического упрощения и известной легкости суждений» есть жизнь произведения, пускаемого в литературу из ученого, очевидно, [нрзб.].

Мне, конечно, чужд этот причудливый конгломерат всевозможных литературных и художественных allusions, которые щедрою рукою разбросаны по всей Вашей статье, но здесь наука бессильна. Я, действительно, друг поэзин, как Вы говорите, но, главным образом, ее историк и теоретик (ибо наука только в этом), и если Вы это считаете «старо-китайским подходом», то что же мне, вообще, дальше возражать, поскольку я старый русский ученый, а не старый наглец?

Что поэма Сыкуна — дело святое, а не исповедное, это ясно. Но она имеет, мне кажется, лимиты, за которыми всякое снабжение ее собственными ассоциациями теряет, по-моему, с нею связь.

В том моем положении, в которое Вы меня хотите поставить, обособив меня от дальнейшего развития мысли о «Поэме», мне трудно судить о «справедливости и полезности» (по Вашей формуле) Вашей «попытки», но я вряд ли могу отрицать за Вами, как и за всяким другим поэтом, право на эволюцию мысли, понятой мною из старо-китайских фактов и, судя по Вашему отзыву, уже отсталой. Думаю, что и Вы признаете за мной право, пока я еще не мертв, по выходе Вашей статьи и перевода, со своей стороны, точно так же печатно их рассмотреть в альманахе, который мы будем издавать здесь, в Институте Востоковедения, и в котором я буду помещать свои дальнейшие статьи и переводы, по-прежнему не выходящие из лимита, данного мне текстом, предоставив дальнейший рост ассоциаций особому роду воображения, который не может быть уделом старой науки.

Еще раз благодарю Вас за большое удовольствие, которое Вы мне доставили Вашими письмами и статьей, ибо редко кому из нас, филологов, удастся привлечь к объекту своего исследования живую и творческую мысль, как это удалось мне в Вашем лице, — и я это, поверьте, очень ценю.

Свидетельствую Вам по этому поводу свои наилучшие чувства.

P.S. На первое Ваше письмо я уже имел удовольствие Вам ответить вчера.

15 ноября 1940

(2)

Многоуважаемый Сергей Павлович!

Ознакомившись теперь, после Вашего письма и статьи-предисловия с направлением Вашей полемики и приемами Вашей работы, я вижу только одно: нам нужно не соединяться, а всячески разсуживаться.

«Поэт свободен, как стихия»... чего про ученого сказать нельзя.

Я думаю, что сейчас я отвечать Вам в полемическом, тем более аналогичном Вашему, тоне не буду, но с выходом Вашей статьи и переводов в свет я также найду возможным по поводу всего этого высказаться, хотя, конечно, не в том издательстве, которое возвращает обратно мои переводы и принимает Ваши версии их. Мы здесь в Ленинграде основываем систему периодических альманахов художественной литературы Востока, где я и предполагаю печататься.

Как я уже Вам писал, я не вижу никакой пользы от моего сотрудничества в московских изданиях, которые, между прочим, продолжают выпускать переводы английских переводов с китайского. ГИХЛ от моих переводов отказался. Служить официальным подстрочником намерений я не имею, и в арбитраже моем при подобных условиях никто не ощутит никакой нужды, а прежде всего, сам я.

При сем возвращаю вам Вашу рукопись, несколько не сомневаясь в том, что она вызывает к себе интерес.

С пожеланием всяческого успеха

Ваш В. Алексеев.

Многоуважаемый Сергей Павлович!

Позвольте Вас поблагодарить за интересное письмо и еще более интересное предисловие к Вашей версии перевода Сыкун Ту. Я имел, таким образом, возможность познакомиться с характером и содержанием Вашей полемики. Само собой, покуда я жив, я считаю себя вправе принимать в ней участие и со своей стороны, печатно, в альманахе, который мы будем издавать здесь в Ленинграде, в лекциях и курсах.

Наше расхождение во взглядах на науку и на выводы из нее, сделанные в другой плоскости, по-видимому, весьма серьезно расходятся. Вряд ли я соглашусь с той аттестацией, которую Вы мне дали, меня, правда, не называя, как и вообще с ролью официального подстрочника, знающего свой шесток. Наука имеет лимиты и законы, которые я буду уважать до самой смерти, и в этом не вижу признака отсталости.

Я не прилагал корректорской руки к Вашей рукописи, но думаю, что в ней есть упушения.

Само собой разумеется, что сосуществовать в одной книге два не признающие друг друга метода вряд ли могут. К тому же издательство, возвратившее мне рукопись за неимением для меня бумаги и печатающее Вашу версию, мне кажется, определяет судьбу и направленность проектируемого сборника, за которым я также буду следить с интересом, но участия в нем не приму.

При сем возвращаю Вам Вашу статью, считая, что она имеет все свои права и что филолог, вызвавший интерес к своей книге (вернее — к своему сюжету), даже выходящий за рамки научного преемства, должен быть, в конце концов, довольным.

Позвольте пожелать Вам успеха¹.

¹ В. Алексеев даже в крайнем раздражении старался сохранить меру приличия и составил последовательно три письма к С. Боброву, сохраняя смысл, но неуклонно смягчая тон. Отправлено было, разумеется, только одно, последнее из написанных.

В. АЛЕКСЕЕВ — С. БОБРОВУ

17 декабря 1940

Многоуважаемый Сергей Павлович!

Я только что прочитал в «Интерп. лит.» (7—8) Вашу интересную статью о стихотв. переводе, с которою, во всяком случае, буду считаться, хотя, мне кажется, речь идет не о переводе, а о переложении, и это не спор о словах, а о разных вещах. Но правоту Вашу, глубоко Вами прочувствованную, я оспаривать не буду.

Позвольте мне поднести Вам, во имя нашей общей любви к поэме Сыкун Ту, снимки с некоторых рисунков к ней, изданных не так давно одним из почитателей поэмы. В них больше усердия, чем «прочего», но они могут быть любопытны, как *couleur locale*¹.

Желаю Вам всего наилучшего.

В. Алексеев.

¹ Местный колорит (*франц.*).

С. БОБРОВ — В. АЛЕКСЕЕВУ

28 декабря 1940

Глубокоуважаемый Василий Михайлович.

Письмо Ваше от 17-го получил только вчера, так как уезжал из Москвы, — поэтому не сердитесь за опоздание с ответом. Письму Вашему и картинкам к Сыкун Ту очень порадовался. Сами по себе картинки мне не кажутся особенно замечательными — автор хватается за внешние образы стансов, не более того, — но все же приятно видеть даже и такую любовь к Сыкун Ту, а кроме того, мне хочется рассматривать Ваш милый пода-

рок просто как знак Вашего доброжелательного внимания — и это меня очень утешает.

Что касается до вопроса о переводах и переложениях, то, конечно, Вы правы в том смысле, что это, разумеется, не одно и то же, и речь идет, конечно, не только о словах. Однако все-таки не следует упускать из вида того, что уже много лет — начиная с перевода Кантемировского из Анакреонта или с перевода Ломоносова оды Руссо (который Ломоносов, кстати сказать, напечатал орегар¹ с французским текстом оды) — стихотворные переводы русские именовались именно «переводами», а не переложениями. Переложение — слово новос, ему от роду, если не ошибаюсь, два десятилетия, три, от силы. Таким образом, за словом «перевод» в приложении к стихотворному переводу стоит традиция, которая не моложе вообще русской письменной поэзии.

Если обратиться к существу дела, то основное здесь в том, что стихотворный перевод можно дать любому читателю, а перевод в Вашем смысле рассчитан на очень ограниченный круг читателей. Вероятно, и Вы, как и многое множество людей грамотных, читали в раннем юношестве песнь о Гайавате в Бунинском переводе, может быть, Вас это трогало и пленяло. Однако вряд ли возможно, чтобы Вы или кто-то другой в том же возрасте взялся изучать предания и сказки сев.-америк. индейцев по научным филологическим трудам о них. С другой стороны, желательно все же, чтобы перевод в моем смысле не был бы в вопиющем противоречии с переводом в Вашем смысле, или точнее: чтобы эти противоречия ограничивались теми рамками, которые им положены существом дела, — то есть языком, эстетическими требованиями к стиху, к его звучности и т.п. Другими словами — если невозможно перевести в полной точности (не дает язык, стих, размер, рифма и пр.), то чтобы все опущенное было по возможности замещено вещами более или менее равноценными. Конечно, это не всегда возможно, и вряд ли какой-нибудь переводчик подписал бы договор на перевод стихов Гете, Байрона, Сыкуи Ту, Данте с юридическим обязательством замещать пропущенное равноценным, — но всякий переводчик должен к тому стремиться, и не на словах, а на деле, по крайнему своему разумению. Цело это отнюдь не легкое, недаром Пушкин говорил, что переводчики — вьючные лошади от литературы². Мне кажется, если взять такого высокодобросовестно-

го и талантливое переводчика, каким был Жуковский (которого Вы уж очень сурово осудили за переложения Слова о Полку Игореве в Вашем предисловии к Ляо Чжаю³) и которого Пушкин недаром в почтительной шутке называл «штабс-капитаном, Гетс, Греем...» и так далее, — а с другой стороны, серьезного ученого-филолога, то их роли разделятся в полной безобидности — ученый даст материал, а стихотворец донесет его до самого нехитрого читателя. Возможно, что на досуге сам стихотворец предпочтет перечитывать оригинал в ученом переводе, а читатель, конечно, скорее возьмется за стихи. За ученым останется первое слово и самая изысканная аудитория, но мне кажется, что для него ничего не будет обидного и в том, если его, пусть даже в упрощенном виде, прочтут и те, кому ученые труды не под силу или просто совсем не по вкусу из-за отсутствия навыка к чтению таких серьезных вещей.

С. Б.

¹ То есть au regard (*франц.*) — в сравнении.

² Пушкин говорил, что «переводчики — почтовые лошади просвещения».

³ С. Бобров ошибается. В. Алексеев вовсе не «осудил» Жуковского за переложение «Слова», а просто указал, что перевод этот сделан «с языка, в обиходе давно уже не существующего», см.: Алексеев В. М. К истории демократизации старинной литературы // Алексеев В. М. Труды по китайской литературе. В 2 кн. Кн. 1. М.: Восточная литература, 2002. С. 440.

На этом переписке В. Алексеева и С. Боброва обрывается. Как видим, в менее чем двух десятках писем возникает довольно отчетливая драматургия от вполне мирного доброжелательного обоюдного-снисходительного начала до словно бы внезапно грянувшего разлада. Только воспитанность и благородство обоих собеседников не дали вспыхнуть ссоре, а вспыльчивый В. Алексеев после брызжущего возмущением письма от 15 ноября 1940-го (аж в трех вариантах!) через месяц пишет вполне примирительную записочку и даже шлет С. Боброву китайские иллюстрации к поэме Сыкуи Ту. На житейском уровне

конфликт если не исчерпан (каждый остался при своем мнении), то смягчен. Но продолжать эпистолярные отношения явно не имело смысла.

Кто же прав — В. Алексеев или С. Бобров? Спор о принципах перевода возник не вчера, и конца ему не видно. Вряд ли когда-нибудь будет найдено универсальное, всех удовлетворяющее решение. Но в каждом конкретном случае мы все-таки вправе хотя бы попытаться найти ответ, тем более когда предметом спора оказывается старинная китайская поэзия — объект в самом прямом смысле слова нелегкий для понимания. Нам придется сказать несколько слов о ней еще и потому, что Сыкун Ту в своей поэме говорит о поэте, именно эту поэзию и создавшем.

Хорошо известно, что китайская поэзия — одна из древнейших на земле. Возникнув где-то во втором тысячелетии до н. э., она просуществовала, внешне мало меняясь, вплоть до начала XX века. Разумеется, такая поэзия не может быть простой. Она требует подготовленного читателя. И такой читатель на протяжении более чем трех тысячелетий у китайской поэзии был. Классическое образование предполагало знакомство со всем массивом традиционной культуры, причем главнейшие тексты требовалось заучивать наизусть. Более того, умение сочинять стихи входило в обязательную программу государственных испытаний на получение чиновничьей должности. Таким образом, поэт в средневековом Китае обращался к читателю, легко ориентирующемуся не только в тонкостях стихосложения, но и в намеках, цитатах, иносказаниях, которыми насыщена традиционная поэзия. С отменой в начале XX века классического образования такой читатель исчез и в самом Китае.

Стоит ли говорить, сколь затруднено понимание китайской поэзии для тех, кто принадлежит к совсем иной культурной традиции.

Сначала — о старинном языке, на котором создавалась средневековая поэзия. Этот язык — вэньянь (букв. «слово культуры»), своеобразная латынь всего Дальнего Востока, — был воспринят из Китая и в Японии, и в Корее, и во Вьетнаме, где столетиями сосуществовал с национальными языками, оставаясь языком высокой культуры.

В этом языке слово, как правило равнос одному слогу и записанное одним иероглифом, отличается принципиальной аморфностью, ничем не связано ни в своем начале, ни в конце, не имеет ни приставок, ни окончаний и может стоять в предложении практически на любом месте в какой угодно комбинации, обретая более или менее определенные грамматические свойства в зависимости от контекста. Если в прозаическом языке синтаксис достаточно устойчив и, в частности, обычен порядок подлежащее — сказуемое, то в языке стихотворном сказуемое может и начинать строку. Вследствие такой грамматической свободы отдельная строка и стихотворение в целом по сей день остаются предметом разнообразных, часто противоречивых интерпретаций, многие из которых, закрепившись в комментаторской традиции благодаря авторитету того или иного толкователя, служат путеводной нитью при чтении старинной китайской поэзии как для носителей языка, так и для иностранных исследователей и переводчиков.

Вдобавок к языковым факторам интерпретационную гибкость китайской поэзии в значительной мере предопределило ее вероятное происхождение из архаической гадательной практики, лежащей в основании всего традиционного китайского культурного комплекса. Иными словами, принципиальная многозначность, открытость для толкований имманентно присущи китайскому стихотворению и зафиксированы в трактатах по поэтике.

Попробуем хотя бы часть сказанного прояснить на примере знаменитого стихотворения Ли Бо «Дума тихой ночью» («Цзин е сы»):

Возле постели ясной луны блик —
Чудится, это — на земле иней;
Поднимаю голову — смотрю на ясную луну,
Опускаю голову — думаю о родном крае.

Для краткости прибегнем к парафразу. Итак, поэт на чужбине тоскует по отчему дому, и тоска эта особенно остра ночью; а тут еще луна положила рядом с постелью блик, похожий на иней, который всегда напоминает об осени — значит, скоро конец года, еще одного, проведенного на чужбине, и о старости — с ишем традиционно срав-

нивается в поэзии седина на висках. Так что лунный свет/иней напомнил поэту о быстротечности жизни, и потому он думает о родине, когда смотрит вниз, мечтая вернуться домой, откуда не исчерпались еще годы земного бытия. Хорошо видно, как в стихотворении взгляд на луну рождает устойчивый круг ассоциаций (за которым десятки, сотни, даже тысячи стихов поэтов-предшественников), каковые с легкостью считаются читателем — носителем поэтической традиции.

Старая китайская культура, предполагавшая и обеспечивавшая для определенного слоя населения (к которому, как правило, принадлежали и поэты, и читатели поэзии) одинаковый уровень образования, то есть твердое усвоение (заучивание наизусть!) всех главнейших памятников высокой словесности — от канонических сочинений до фундаментальных поэтических антологий, — автоматизировала процедуру понимания и интерпретации до такой степени, что чтение любого стихотворения (или всякого другого литературного текста) сопровождалось его пониманием во всем многообразии ассоциаций, цитат, намеков и т. п. Покуда это было возможно, классическая поэзия существовала, а когда обилие и сложность внутрипоэтических связей превысили некий пороговый уровень стандартной образованности — она умерла.

Но до той поры едва ли не главным наслаждением знатока — ценителя поэзии — являлся именно процесс понимания, узнавания, угадывания всего того, что скрывается за внешне непритязательным («пресным» — *дань*, в китайской терминологии) иероглифическим фасадом стихотворения, даже нарочито прозрачным, сквозь который легко проникает профанный взгляд и либо не обнаруживает за ним почти никакой сущности, либо, поддавшись самообольщению, принимает форму за сущность и полагает ее ничтожной и недостойной внимания. Теперь, после короткого, как сказал бы В. Алексеев, экспозе, постараемся представить в столь же сжатых до предела словах основной круг идей поэмы Сыкун Ту.

В. Алексеев, вчитавшись буквально в каждое слово поэмы, уловив путем перекрестных контекстуальных сравнений самомалейшие смысловые оттенки каждого иерог-

лифа, твердо знал, что поэма — поистине квинтэссенция не только традиционных поэтологических воззрений, но и всей китайской культуры. «Поэма о поэте <...> Сыкун Ту есть нечто родоначальное для всей эстетики Китая всех времен»³.

Итак, основные смысловые узлы поэмы.

Тип и типичность как понятия, фундаментальные для китайской эстетики. Еще великий историк Сыма Цянь говорил: «Установив однородность, можно различать; установив однородность, можно познать», — то есть классификация явлений — важнейший этап их постижения. Истоки этой классификационной парадигмы следует искать в символике «Книги перемен» («Ицзин»), графемы которой представляют «небесные образы» всцей, укорененных в классификационных схемах культуры, но не всей их многообразной совокупности, а сведенных к единственной типовой форме. Именно «категория, тип» (*пинь*) — основа китайской культуры, поэтому нет явления, будь то картины, человеческие характеры, музыкальные аккорды и пр., которое не рассматривалось бы в наборе типовых форм. В сущности, только типизировав предмет или явление, китайская мысль могла оценить их художественные достоинства. В Китае никого не удивляло, что художника учат рисовать «типы камней» или «типы деревьев»; из того же ряда и типы поэтического вдохновения, воплощенные Сыкун Ту, ибо «Поэма о поэте» — их опоэтизированный каталог.

Установка на типовую классификацию предопределила, в числе прочего, и бросающуюся в глаза нумерологическую матрицу китайской культуры. Нигде, пожалуй, за пределами Китая не встречаются так часто именованья вроде: «девятнадцать древних стихотворений», «восемь стансов об осени», «триста танских стихотворений», «стихи тысячи поэтов» — ряд этот поистине бесконечен. То, что категорий поэтического наития оказывается именно 24, конечно же, тоже не случайность. В. Алексеев своим по-

³ Алексеев В. М. Труды по китайской литературе. Кн. I. С. 30. В дальнейшем — ТКЛ; цитируется с указанием книги и номера страницы в тексте.

дробным разбором природных соответствий настроениям идеального поэта «Поэмы» связывает, весьма вероятно, двадцать четыре фазиса вдохновения с двадцатью четырьмя календарными сезонами, столь же причудливо и неуловимо изменчивыми, навещающими трудно передаваемое в словах настроение — «природа представляется <...> не более выразимой, нежели ее вседержитель, тайное Дао», и далее: «Только природа выражает паитие, создавая ему нечто вроде образа, формы и обстановки», — и отчетливее всего в комментарии к стансу XX: «Жизнь типов природы имеет сходство (сы) с жизнью Великого Дао в вещах мира» (здесь «вещи мира» — все многообразие неприродных сущностей, к которым принадлежит и поэзия).

Впервые в мировой синологии с такой полнотой был реализован В. Алексеевым подлинный филологический метод исследования, в основе которого — правильно понятое слово изучаемого текста, выяснение его смысла в таком-то сочетании, в таком-то стилистическом окружении и пр. Редко когда можно указать с полной определенностью какой-то единственный смысл слова — речь, скорее, должна идти о наибольшей или наименьшей вероятности того или иного значения, каковая вероятность устанавливается перебором возможно большего числа контекстов в памятниках иноязычной культуры. В. Алексеев подошел к этой задаче с исключительной ответственностью, соединив для ее решения все три возможных подхода: он вчитывался в Сыкун Ту сам, используя собственные знания о китайской культуре, приобретенные при чтении классических текстов, в том числе и того же Сыкуна, с китайскими знатоками; внимательно, с уважительным критицизмом пользовался китайскими комментариями; искал в китайских словарях и, главным образом, в конкордансе литературных цитат «Пэй вэнь юнь фу» контексты, позволявшие уловить возможные колебания смысла строк «Поэмы», практически каждое слово которой подверглось подобной операции. Результатом оказался не только понятый, переведенный, парафразированный и со всех возможных сторон исследованный ее текст, но и уникальный, до сих пор в отечественной науке не превзойденный сло-

варь китайской эстетологии и — шире — всей традиционной культуры Китая.

Поэма Сыкун Ту — некая идеально-нормативная поэтика, воплотившая чаемые традицией, но недостижимые в поэтической практике тип вдохновения и тип стихотворца. В этом небольшом по объему произведении как в фокусе сосредоточились практически все ключевые мотивы китайской культуры, ее, так сказать, нервные узлы.

Так, «Поэма о поэте» из станса в станс трактует об актуальнейшей для всей культуры проблеме явленного и скрытого, когда максимальная явленность совпадает с полной сокровенностью, а наибольший результат приносит недеяние. Не пророческий, а основанный в своих архаических истоках на ритуале гадания и последующей интерпретации его результатов тип китайской культуры отвел наиболее значимую область недоговоренного, остающегося «за словом». Известна необыкновенно важная роль притчи, цитаты, иносказания, аллюзии в классической словесности. У Сыкун Ту с его идеальной отвлеченностью поэтическая практика смысла «за словом» обретает, в свою очередь, облик с трудом постигаемого иносказания. Впрочем, и этот идеальный поэт настолько *проникнут идеей* цитатности; что исследователь совершенно справедливо видит одну из главных своих задач в отделении в тексте поэмы «чужой» речи от авторской и замечает, что Сыкун, несмотря на лаконизм своей поэмы, порой инкорпорирует в нее целые строки из любимого Чжуан-цзы. Дело в том, что «...китайский поэт <...> в первую очередь, есть выразитель своей начитанности, так что, если представляется, вообще, важной задачей историко-литературного исследования отделить собственные мысли данного поэта от его, так сказать, почвенных образований, то тем более важно это сделать при разборе творчества китайского поэта, который весьма часто, по выделении всех заимствований, сводится к малозаметному для нас новому элементу»⁴.

⁴ См.: Смирнов И. С. В. М. Алексеев и «Поэма о поэте» Сыкун Ту // Алексеев В. М. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту. С. 9.

С редким мастерством переводчика-толкователя В. Алексеев и сохраняет присущую оригиналу недоговоренность, и буквально выуживает, уловляет потасканные смыслы. «Я даю истолкование строфы в виде основного мотива всей поэмы, а именно: Дао внутри поэта есть свет и полнота, невыразимые в слове, которое их обесцвечивает и делает “не тем”» (станс 1, строка 19). В разных стансах этот мотив воплощается по-разному, но присутствует почти непременно.

«Ища в наитии этого типа величия и исчерпывающей сути вещей, поэт не должен углублять его до заушной глубины, помня, что, по учению Лао-цзы о Дао, одним из основных его признаков является свсрхредкий звук <...> Его не уловишь в какую-нибудь форму, в образ, в подобие жизни, ибо оно с ним несовместимо: только наложишь свою формообразующую длань — как вдохновение из-под этого пресса уже ушло» (ТКЛ. 2, с. 9). Иначе говоря, главное в стихе, дух его, — не может обрести форму, он «вне слов», «за словом»: «“Онос” я не встречаю всей глубиью <...> / Ближе к нему — все бледнее оно <...> Пусть ему форму и сходство пайду я, / Крепко схвачу, но оно убежит» (ТКЛ. 2, с. 8; станс II в версии 1947 года). Или объяснение к пятой строфе станса III: «Чем больше насладать (*чэи*) на это настроение—впечатление, т.е. чем больше реализовывать его в видимость, форму и слово, тем быстрее оно от человека уйдет».

Кульминацией этой темы, а вероятно, и всей поэмы, можно считать XII станс, где идея скрытности, потаенного смысла обретает почти терминологическое оформление в понятии *хань сюй*, вынесенном в заглавие станса и переведенном В. Алексеевым как «таящееся накопление» или, в парафразе, «вдохновение, накопленное и таящееся внутри». Словарно — контекстуальный этюд этого понятия, как и перевод, и парафраз всего станса, — из самых блестящих в алексеевской книге. Почти формула первой строки — «Не ставя ни одного знака, / Исчерпать могу дуновенье-текучесть» — обретает в парафразе пронзительную ясность понимания сути китайской поэзии: «Поэт, ни единым словом того не обозначая, может целиком выразить живой ток своего вдохновения. Слова стиха, на-

пример, как будто к нему не относятся, а чувствуется, что ему не преодолеть печали». Традиционная критика говорила в таких случаях о «вкусс вне вкуса» и всячески превозносила поэтов, способных воплотить свои чувства поверх и помимо слов.

Не понимая сущности *хань сюй*, невозможно постичь, к примеру, почему знатоков так восхищало простенькое четверостишие Ли Бо, по видимости, просто перепевающее старую тему брошенной государевой наложницы:

Яшмовое крыльцо рождает белую росу;
Почь длится... Полонен шелковый чулок.

Вернуться, опустить водно-хрустальный занавес —
Звещающе-прозрачный... созерцать осеннюю луну.

А между тем один из критиков восхищенно говорит, что «эти двадцать слов, живо описывающих настроение женщины, которая томится в тоске, и расположенных так, что первые стихи дают понять, что ей и уходить не хочется, и на месте не стоит, а вторые — что ей и не сидится и не ложится; — что эти два десятка слов стоят двух тысяч»; другой критик указывает на то, что, кроме заглавия — «Тоска на яшмовых ступенях», — ничто здесь не называет той тоски, о которой речь, но она таится где-то позади слов. Неслучайно Сыкуи Ту видел в творчестве Ли Бо наиболее полное воплощение своего идеала Дао-поэта.

Но и такой поэт «прямого высказывания», как Бо Цзюй-и, нередко превозносится критиками именно за стихи «с двойным дном». Так, в «Образцах танских и сунских стихов» («Тан Сун ши шунь») циньский Гао Цзун-ай особо выделяет в цикле «Ропот» два стихотворения из трех именно за то, что их «смысл, идея — вне слов».

Кстати, еще один из ранних поэтологов, знаменитый Чжун Жун (VI век), многократно упомянутый В. Алексеевым как автор первых «Категорий стихотворений», говоря о трех *поэтических приемах* — *фу*, *би*, *син*, — подчеркивал, что *фу* — это не прямое описание, а иносказательное («юй янь се у»), а сущность *син* в том, что «написанным не исчерпывается смысл»; многослойность

поэтического текста он полагал неотъемлемым качеством поэзии, стихотворная строка не должна быть однозначной, за ней должны стоять ассоциации, создающие как бы второй и третий планы.

Начиная с первой поэтической антологии «Книги песен» («Шицзин»), именно скрытые смыслы, явленные посредством толкования, вызывали наибольшее восхищение.

В переводе В. Алексеева существует примечательный пассаж из эдикта 1781 года императора Цянь-луна: «Известно, что истинная поэзия восходит к “Шицзину” <...> Даже когда речь идет [там] о красавице и пахучих травах, — и то надо подразумевать не деву, а благородного человека <...> Надо восходить к началу духа высшей прямоты и взывать к ископной благопристойности. Это, так сказать, удаление вдохновенности в иные выси: речи — здесь, но мысли — там, далеко!» (ТКЛ. 1, с. 116). Заметим, что народные песни «Шицзина», по преданию, перетолковал в таком именно духе сам Конфуций — сторонник «исправления имен», то есть приведения слов в строгое соответствие с обозначаемыми понятиями. Здесь, как часто случалось в китайской культуре, Конфуций и его всегданные оппоненты, даосы, с разных позиций, но постулировали нечто единое, предопределенное базовыми свойствами культуры: предпочтение иносказания прямому высказыванию. Сыкун Ту облек в нарочито неясные строки своей поэмы традиционное представление о гармонии вне слов, о «скрытом накоплении», а В. Алексеев конгениально отозвался на них своим толкованием.

Укажем еще на некоторые важнейшие категории, явленные В. Алексеевым в поэме Сыкун Ту. «Скрытые звуки» (*ю инь*) упоминаются в нескольких стансах поэмы, поскольку тесно связаны с представлением о сокровенных смыслах («...эти “скрытые звуки”, эти “хранилища невыразимого” [*хань сюй*], которые китайские поэтологи провозглашают как суть поэзии, превосходящую само поэтическое произведение», — ТКЛ. 1, с. 100) и, в свою очередь, с понятием отшельничества (*ю жэнь* — отшельник), — «именно воспевание уединенного вдохновения <...> — как подчеркивал В. Алексеев, — составляет

как бы основное содержание китайской поэзии» (ТКЛ. 1, с. 117). В этом же ряду трактуемое в стансе XIV понятие «подлинного следа» (*чжэнь цзи*), традиционная метафора поэтического и живописного образа. Как говорит Сыкун Ту, «есть подлинный след — словно бы невозможно познать», а исследователь понимает этот след как творчество в его бесконечных переменных — метаморфозах, которые настолько быстротечны, что исчезают, не успев обрести форму. Мы узнаем о них только по «следам Дао»: эху в ущелье, отражению луны в воде, лику в зеркале, закатному отблеску на облаке, наконец, тени, которая выступает наиболее частым синонимом «следа». В сущности, вся поэма — поэтический каталог такого рода «следов».

Различение густого и пресного продолжает противопоставление ложного подлинному, явленного скрытому, полноты пустоте («Суть Дао — пустота. Люди, им пользующиеся, также должны быть пустотны, но не переполняться. Раз переполняются — это не Дао»), столь важное для китайской мысли и для «Поэмы». Как точно пишет В. Алексеев в предисловии к стансу IX, «всякому обилию неизменно сопутствует истощение и сухость. Зато тот, кто душой своей пресно-прост, очень часто таит в себе глубину». «Преснота» (*дань*) — одна из примет Дао, а потому — обязательное свойство Дао-поэта. Следует заметить, что *дань* — едва ли не самый возвышенный эпитет для подлинной поэзии, тогда как пышные избыточные словеса неизменно порицаются знатоками. Может быть, наиболее строгое суждение о *дань* применительно к поэтическому творчеству высказал Су Ши, говоря о Тао Цяне: «Его стихи как будто элементарны и просты, а взглядишься — красочны; как будто анемичны, тощи, а взглядишь — прежирны», то есть преснота важна не сама по себе, а как обличье скрытой красочности, скрытой, не бьющей в глаза. Иными словами, поэт в краткой и старинной форме являет тонкую, неуловимую игру мысли и в бескрасочной красоте передает нам высшие ощущения, высший вкус.

Надеюсь, сказанного достаточно, чтобы понять, насколько поверхностными, далекими от глубинной сути китайской поэзии показались В. Алексееву рассуждения С. Боброва о поэме Сыкун Ту.

В первых письмах С. Бобров еще осторожен, движется словно бы опущую, хотя и не без оплошностей. «Необыкновенные трудности встречаешь в философских стансах, пейзажные, конечно, много легче» — разумеется, никакого деления на философские и пейзажные стихи у Сыкун Ту нет, все 24 станса являют собой « типовые формы », в которых поэт воплощает различные оттенки вдохновения, которое в китайской поэзии только одно и может быть « непосредственным », но слова стиха — всегда уже бывшие, уже сказанные, типовые. Да и источником вдохновения — ни для поэта, ни для художника — никогда не становится конкретный пейзаж, а скорее, его обобщенный образ в поэзии и живописи предшественников (отсюда — весомость « чужого слова »), поэтому говорить о « не постижимой выси поэтического достижения, прямого, непосредственного » (С. Бобров) нужно, конечно же, с большой осторожностью.

Квинтэссенцией бобровского непонимания может служить его интерпретация ключевого XII станса поэмы Сыкун Ту. Чтобы дать представление, насколько непросто этот текст даже для знатока китайского языка и традиции, приведем дневниковые записи В. Алексеева времени работы над « Поэмой о поэте ».

« ...Станс XII. Конечно, над “Чжэнь сянь” пришлось посидеть немало. Всего, значит, только и перевел, что одну строфу.

<...> Станс XII застрял на строке “Словно... вино”, которую, несмотря на все усилия, так и не почувствовал <...>

Станс XII квази закончен. Сколько сроков я назначал, и сколь они смешны в общем-то!

<...> Станс XII. Парафраз. Ох, как трудно <...> Синтез, дающийся с большим трудом.

<...> Станс XII переписывается. Я рассчитывал к этому времени уже все закончить, а сделал всего только половину»⁵.

⁵ Все цитаты из дневника В. Алексеева даны по рукописи, хранящейся у его дочери, М. Баньковской.

По дневнику выходит, что один только станс XII занял ночные рабочие часы с 24 января по 26 февраля 1912 года — больше месяца. В. Алексеев прекрасно понимал природу этих трудностей, ибо «...язык не есть только механика звуков и слов, но и механика идей и культурных сплетений». Прочтение текста требует овладения этой высшей механикой, а как добиться его европейцу, чем может он заместить «недостающую силу знания туземца, для которого только и был писан изучаемый текст?» Иными словами, европеец, «не выучивая на память текст китайских классиков и знаменитых произведений, не может достичь уверенного понимания текста...»

Не удивительно, что пока С. Бобров не покушается на разрушение этого буквально потом и кровью добытого понимания, В. Алексеев, не обращая внимания на мелкие неточности, вполне снисходителен: «Мне кажется, что Ваши подражания и особенно фантазии было бы хорошо напечатать. Ведь это целый новый поток в русской поэзии, который будет разливаться далее уже особыми струями. И интересно, чем это новое течение закончится и как будет по-новому жить». Мысль о том, что старая китайская словесность, добротна персвещенная и воспринятая во всей многовековой и оригинальной сложности, окажет влияние на русскую литературу, была на протяжении всей жизни близка ученому. Но, разумеется, не о таком «восприятии» он мечтал:

«Станс XII, как бы возражая предыдущему, повторяет ту же тему в элегии: поэт не хочет слов, от них веет холодом (вторая антиномия творчества); он затаится в молчании, но и тогда дорогая поэзия не покинет его (ср. у Делакруа в “Дневнике”: “Это торжественное и мрачно-поэтическое чувство человеческой слабости, неиссякаемого источника самых сильных ощущений”). В этом затаенном молчании с таинственной медлительностью в сердце поэта накопится живое искусство. Это противопоставление стансу XI, но в то же время и разрешение темы — поэт не властен расстаться со стихом».

Само бобровское переложение этого станса выглядит на фоне подобных «разъяснений» даже предпочтительнее:

Ветер живых вдохновений плывет,
Знаков не трону я.
Вы не касайтесь меня, слова,
Неутолима печаль моя.
Истина правит в пустых облаках,
Миг — и возникну с тобой,
Полон до края. Как лотос я
В ветре свернувшийся — затаюсь.
Пустотой танцует воздушная пыль,
Капелск тьмы — туман морской:
Мириады толпятся, парят, скользят
И единою мира лягут волной.

Хотя как ключевая фраза — ключевая мысль! — «Не ставя ни одного знака, / Исчерпать могу дуновение-текучесть», или в парафразе: «Поэт, ни единым словом того не обозначая, / Может целиком выразить весь живой ток своего вдохновения» — трансформируется в банально, но мало вятнос: «Ветер живых вдохновений плывет, / Знаков не трону я», — понять воистину трудно.

Впрочем, ответ на этот вопрос даст сам С. Бобров: «Мне кажется, что это может быть интересно и даже полезно нашему безграмотному читателю». Думается, именно в этом нехитром соображении — зерно всех разногласий ученого и поэта. После подобного заявления не стоит удивляться и такому: «Я полагаю, что вы не станете спорить и с тем, что та концепция, которую Вы, следуя китайским ученым, развивали в Вашем исследовании около четверти века тому назад, ныне уже устарела и не может быть убедительной». И далее: «...я старался поэтому найти то у Сыкуна, что его роднит с мировой поэзией, а отнюдь не то, что исключительно характеризует давно умершую эпоху, давным-давно истлевшую во мгле времени своеобразную “философию” той эпохи, ее туманную мистику, ибо все это само по себе может представлять собой только исторический интерес и объяснить у Сыкуна только отдельные частности, отдельные характеристики и ничем не может помочь в уяснении самой поэзии, которая, что ни говори, всегда есть дитя человеческого сердца, его отношения к миру, и отношения непосредственного, и которая имеет, в сущности, весьма малое касательство к

тому, так сказать, лесу всяческих опосредствований, которые есть плод эпохи и всех связанных с ней перипетий развития и умственного, и экономического и т. д.».

Внимательный читатель приведенных выше писем С. Боброва легко умножит число подобных соображений и заметит, что все они исходят из той же презумпции: «...может быть интересно и полезно нашему безграмотному читателю». Можно предположить, что вернувшийся из ссылки поэт из всех сил пытался уловить «дух эпохи», чтобы по мере возможности в нее вписаться (кто же осудит его за это?), а в переводе уже очевидно главенствующей сделалась именно просветительская тенденция.

Таким образом, противоречие В. Алексеева и С. Боброва — это зримое выражение двух позиций, условно говоря, «знатока» и «просветителя», которые на поприще переложения иноязычной словесности отлились в два типа перевода. Один — вольный, или «творческий», рассчитанный на широчайший круг читателей, интересующихся, в первую очередь, говоря обобщенно, «о чем» стихи. Такой перевод ориентируется на возможно более легкий путь донесения этого «о чем» и на привычные формы родной литературы. Второй — точный, если угодно, «буквальный», стремится, вопреки некоторой привычной норме, жертвуя подчас сложностью («общелитературным укладом» — В. Алексеев) стихотворной речи, показать сравнительно узкому кругу ценителей не только «о чем», но и «как». Таким, по преимуществу, был русский стихотворный перевод начала XX века; «творческим» он начал становиться почти в приказном порядке со второй половины 30-х годов⁶.

⁶ Эти соображения навеяны работами М. Гаспарова. См., в частности: *Гаспаров М. Л.* Брюсов и буквализм (по неизданным материалам к переводу «Энеиды») // *Мастерство переводов*. Сб. 8. М.: Советский писатель, 1971, а также: *Гаспаров М. Л.* (совм. с *Автономовой Н.*). Сонеты Шекспира — переводы Маршака // *Гаспаров Михаил. О русской поэзии: Анализы. Интерпретации. Характеристики*. СПб.: Азбука, 2001.

В. Алексеев в своих переводческих установках ориентировался на принципы Н. Гумилева, на практику В. Брюсова — переводчика «Эпсиды», на традиции петербургских востоковедов. Он говорил о своих переводах, что это «просто китайский текст в еле прикрытой русской форме». Десятилетия спустя Л. Эйдлин писал: «Переводы В. М. Алексеева обладают удивительной, неповторимой особенностью обнажения ткани китайского стиха, так что русский читатель ощущает себя приближенным к поэзии китайского стихотворения»⁷. В самом деле, такие, к примеру, четверостишия Ли Бо, как:

С золотым цветком ветер ломящая шапка...
А беслый конь тихо бредет вспять.
Порхает-взлетает, плышет широкий рукав —
Что птица, с восточных морей прилестевшая, —

или:

Гость заморский ловит с неба ветер
И корабль далеко в страду гонит.
Словно сказать: птица среди облаков!
Раз улетит — нет ни следа, ни вестей, —

оставляют впечатление длящегося во времени и пространстве сосуществования оригинала и русской его версии.

Любопытно, но в то время, когда начиналась их переписка, С. Бобров еще мог сказать: «Конечно, дословный перевод, да еще и с комментариями, вообще дает больше, я это давно еще в юности заметил, обнаружив, что лучшие переводы Данта — прозаические». Потом уже не мог. В. Алексеев превосходно понимал то, в чем сам существовал и что называл «контекст личности с обстановкой», но посчитал возможным с горечью написать своему оппоненту: «Я, действительно, друг поэзии, как Вы говорите, но, главным образом, ее историк и теоретик (ибо наука только в этом), и если Вы это считаете

⁷ Эйдлин Л. Китайская классическая поэзия // Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии (БВЛ. Сер. 1. Т. 10). М.: Художественная литература, 1977. С. 203.

“старо-китайским подходом”, то что же мне, вообще, дальше возражать, поскольку я старый русский ученый, а не старый наглец?»

А что еще можно было ответить человеку, полагавшему: «Если обратиться к существу дела, то основное здесь в том, что стихотворный перевод можно дать любому читателю, а перевод в Вашем (то есть алехссевском. — *И. С.*) смысле рассчитан на очень ограниченный круг читателей».

Что правда то правда, и это спор не о словах.
